Кис ван дер Пийль

Локковская Европа?

Ближе к концу 2005 года в предместьях крупных (и не только) городов Франции вспыхнули социальные волнения. Не обошлось и без насилия. Беспорядки и поджоги в пригородах, начавшиеся в последние дни октября, вскоре заставили президента Ширака выступить на телевидении и объявить молодежь из «трудных кварталов» «сыновьями и дочерьми Республики», картинно осудив «яд дискриминации», хотя введение комендантского часа и чрезвычайных мер само по себе свидетельствовало об обратном. В конце концов, находящиеся у власти правые обладают весьма ограниченным арсеналом средств. Поначалу казалось, что неолиберальному министру внутренних дел и кандидату в президенты Николя Саркози придется поплатиться за свою твердолобую политику «нулевой терпимости» и оскорбительные выпады в адрес «сброда», отчего стоявший на голлистских позициях премьер-министр Доминик де Вильпен должен был только выиграть. Вместо этого правые развернули активную пропагандистскую кампанию: Национальный фронт Жана-Мари Ле Пена заявил о своей поддержке Саркози, пытаясь воспользоваться «Великим Страхом», охватившим значительную часть населения Франции, включая миллионы людей, которых привела в возбуждение возможность приобретения акций Электроэнергетической компании Франции, приватизация которой совпала по времени с беспорядками.

Не нужно объяснять, в каком положении находится иммигрантская молодежь во Франции. Об этом снято немало отличных фильмов — «Ненависть» Матье Кассовица вышла на экраны еще в 1995 году — и написано много статей. Огромные средства выделялись на программы, призванные исправить сложившееся положение. И широкие кампании против расизма, поддержка нелегальных иммигрантов церковью и средствами массовой информации и пестрый состав национальных сборных на спортивных соревнованиях часто считались средствами, позволявшими французскому обществу избежать неизбежного распада. Даже решение правительства запретить ношение хиджабов школьницам-мусульманкам многие восприняли как свидетельство уверенности государства в собственных силах.

Но приватизация и экономический спад во Франции и в других странах привели к перераспределению услуг, дохода и власти от бедных к богатым и резкому увеличению численности низших слоев общества, которым попросту стало нечего терять. На фоне западной агрессии против исламского мира молодежь из предместий с арабскими или африканскими корнями и плохим образованием знает, что ей вряд ли *вообще* удастся найти работу в новом мире «реформ». Необдуманное решение насчет хиджабов только подлило масла в огонь: какой смысл навязывать «республиканское» политическое равенство тем, кто больше всего страдает от растущего экономического *не*равенства? Обнищание достигло такой точки, что сотни бродяг находят приют у дороги, которая ведет к аэропорту им. Шарля де Голля: они дышат выхлопными газами и прячутся под листами пластика или картона на узкой полоске вдоль придорожного забора. Между тем приватизация Электроэнергетической компании Франции, национализированной после освобождения от нацистской оккупации и долгое время служившей одним из оплотов Всеобщей конфедерации труда, побила все рекорды. Почти 5 миллионов состоятельных французов поспешили приобрести акции компании по 32 евро за штуку,

заплатив в общей сложности 7 миллиардов евро. Гибели двух подростков на электроподстанции, где они пытались скрыться от полиции, которая преследовала их по подозрению в мелком правонарушении, оказалось достаточно для того, чтобы вызвать короткое замыкание между мирами богатых и бедных и пробудить волну насилия, захлестнувшую французские пригороды.

От Франции к Европе

Избранная Саркози политика нулевой терпимости в сочетании с нулевым интересом к жизни бедняков оказалась весьма взрывоопасной. Однако французская ситуация от ситуации в соседних странах отличается не только недавними вспышками насилия. Волна протеста против неолиберализма нарастала на протяжении по крайней мере десятилетия — от массовых забастовок беспокойной зимы 1995–1996 годов, приведших к отставке правительства Жюппе, и создания *ATTAC* как сети гражданских групп в 1998 году до недавней ожесточенной борьбы против приватизации транспортной компании, обеспечивавшей связь с Корсикой, и забастовок за сохранение железных дорог в руках государства. И хотя проблемы, с которыми сталкивается французское общество, а также политический отклик, который они вызывают, кажутся весьма нетипичными для остальной Европы, они по сути своей остаются *европейскими*. Именно об этом и пойдет речь ниже.

Основной причиной недавних французских волнений была неудачная попытка применения неолиберальной «рыночной» дисциплины к континентальным европейским обществам, которые исторически развивались под защитой государства (в том числе *от* либерализма, опиравшегося исключительно на капиталистические отношения собственности и формы эксплуатации); при этом коллективная способность выражать недовольство заметно ослабла после серьезного ограничения парламентской демократии во время неолиберальной реструктуризации, начавшейся в конце 1970-х годов. Безудержное желание Европейского Союза провести «рыночные реформы» после краха советского блока только обострило давние противоречия между либерализацией и традицией государственного вмешательства в ряде европейских стран и особенно во Франции. Поворотным пунктом здесь стал Маастрихтский договор 1991 года. Во Франции ратификация Экономического и валютного союза, создание которого обсуждалось в Маастрихте, прошла с большим трудом; достаточно вспомнить тогдашнее предостережение зеленого политика и писателя Алена Липица о том, что при отсутствии сколько-нибудь реальной народной поддержки губительные для общества последствия Маастрихтского договора в скором времени вызовут гражданскую войну в Европе.

Региональная интеграция является структурной особенностью транснационализации капитала, и она требует объединения и координации государственных функций. Но в условиях послевоенной Западной Европы развитие этой интеграции определялось положением самого сильного государства на континенте, которое оказалось зажатым между англоязычным Западом и новым претендентом на гегемонию — Советским Союзом. Поэтому европейская интеграция содержала в себе элементы классового и геополитического компромисса, которых не было нигде больше; и новые меры проводились в жизнь прежде всего во Франции. Многие полагали, что после полного восстановления суверенитета и воссоединения Германии и краха СССР этот особый процесс интеграции, который привел к возникновению общеевропейских квазигосударственных структур, продолжится, а общая логика присоединения и

приспособления государств к капиталистической транснационализации останется неизменной. Но вместо этого произошло непредвиденное замедление или даже остановка процесса строительства европейских институтов — того, что отличало ЕС от НАФТА, АСЕАН или Меркосур.

Оплот англоязычного либерализма

Сочетание исторической геополитики и глобальной политической экономии, лежащее в основе европейской интеграции, требует избрания подхода, подобающего рассматриваемому предмету. Но имеющиеся академические дисциплины плохо подходят для выполнения этой задачи. Теория международных отношений, в частности, долгое время страдала от двух исторических заблуждений. Речь, прежде всего, идет о «мифе 1648 года», идее события, заложившего основы современной мировой политики (Вестфальские соглашения, положившие конец религиозным войнам), когда была создана система государств, обладавших территориальным суверенитетом. Но, как показал Бенно Течке, «никакого “структурного разрыва”, отделяющего досовременные международные отношения от современных, не было. Скорее, международные отношения с 1648 года до Первой мировой войны и дальше были геополитически опосредованы давлением модернизации, которое исходило от капиталистической Британии». Но еще одно — и, возможно, даже более важное — заблуждение связано с глубоким непониманием *пространственных* аспектов наступления современности. Ибо это в целом верное утверждение насчет «Британии» на самом деле относится к англоязычной транснациональной сфере, включающей заморские колонии и превосходство на море, — тому, что можно назвать (в честь автора «Двух трактатов о правлении») «локковским оплотом».

Даже если абстрагироваться от досовременных «внешних сношений» (скажем, между различными племенами или между имперскими цивилизациями, притязающими на всеобщий суверенитет, и кочевниками на их границах), основная ось геополитики в эпоху Нового времени проходила между национальными объединениями, не обязательно совпадающими с отдельными территориальными государствами. Англия, занятая тогда собственной гражданской войной, не подписала Вестфальских соглашений; вместо этого она смотрела на запад, на другую сторону Атлантики. Только в свете этой трансатлантической констелляции «1648 год» можно считать определяющим событием. На самом деле англоязычный Запад, первоначально включавший британские острова и Новую Англию, заставил правящие классы на европейском континенте искать ответы на «давление модернизации», исходившее от англоязычной зоны, опираясь на государственный суверенитет.

Локковский оплот не развивался как капиталистический блок. Он был, прежде всего, саморегулирующимся обществом, пользовавшимся английским языком и обладавшим четкими представлениями о власти и законе, которые североамериканские поселенцы привезли с собой с британских островов вместе с пуританизмом. «Славная революция», которая ознаменовала собой подчинение государства «гражданскому» обществу (этим обусловлено использование эпитета «локковский»), с энтузиазмом была встречена в Северной Америке. Когда в начале 1689 года известия о ней дошли до Бостона и других поселений, один за другим последовали бескровные перевороты. Массачусетс, в частности, объявил Вильгельма Оранского кальвинистским мессией, а североамериканские колонии проявили «невиданную прежде» солидарность с метрополией. Парадоксальным образом отделение Америки в 1776 году только

подтвердило существование этой глубокой связи, хотя и привело к образованию отдельной государственной юрисдикции по ту сторону Атлантики. И, несмотря на последующее соперничество между Британией и Соединенными Штатами за лидерство в англоязычном мире, их отношение к внешнему миру всегда определялось этим основополагающим опытом, в котором тесно переплетались давняя идея пуританского «избранного народа», независимость от государственного авторитета и благородное стремление «нести свободу» другим.

Государства-соперники

Только на этом фоне социальное и политическое развитие в мировом масштабе может быть понято как процесс, в котором развивающийся оплот либерализма начал сталкиваться с рядом *государств-соперников*. Первым из них в XVIII веке стала Франция. Затем Германия и Италия в союзе с Японией попытались бросить вызов второй Британской империи и Соединенным Штатам. Позднее — во второй половине XX века — основным соперником более широкого Запада стал Советский Союз. При таком рассмотрении послевоенная европейская интеграция оказывается обусловленной более ранним соперничеством и предстает в виде нового витка этого процесса. В конце концов большинство государств-соперников влилось в этот расширяющийся оплот, так и не преодолев прежних разногласий. Трещины, пронизывавшие этот расширенный Запад, стали определяющим фактором в европейской интеграции.

Дальнейшее развитие этого процесса — превращение Китая сегодня в основного соперника и появление множества «второстепенных соперников» (Бразилия, Мексика, Турция, Иран и Индия) — будет рассмотрено нами в другом месте. Здесь же достаточно изложить общие контуры нового видения геополитики и глобальной политической экономии, коренным образом отличающегося от гоббсовской модели государств, борющихся за власть в анархическом мире. Речь не идет о каком-то метафизическом и трансисторическом механизме; государства-соперники — это государства, правящие классы которых наиболее успешно отвечают на «вызовы модернизации» (исходящие не от Британии *per se*, а от англоязычного оплота в целом) с опорой на суверенные государства, осуществляющие задачу мобилизации обществ, и которые, таким образом, предлагают более короткий и обычно более грубый путь социальной интеграции и модернизации. Здесь нет никакого «гражданского» общества — вместо него имеется государство, реквизирующее в различной степени свой социальный субстрат; четкие границы суверенной территории; и некая «революционная» доктрина, обычно националистическая по своему характеру, которая мобилизует население. Таковы признаки государства соперника.

Номадизм капитала

«Капитализм», с этой точки зрения, вторичен по отношению к либеральной, локковской структуре оплота. Он не был чертой первоначальной трансатлантической констелляции и не мог ею быть на том этапе социального развития. Капитал — это, конечно, историческое следствие структуры оплота/соперника, но он избегает четко определенных пространств и навязывает себя глобальному обществу в качестве *экстратерриториального порядка*. Исторически кристаллизация элементов капитала происходила в пустотах между феодальными производительными структурами, вроде поместий и гильдий, а также в международных финансах и торговле, не подпадавших под юрисдикцию суверенных органов европейского общества — королевских и

церковных судов, городских и провинциальных собраний. Слияние производства и транснационального оборота денег и товаров в единый и всеобъемлющий процесс произошло только во время промышленной революции, эпицентром которой, разумеется, была Англия. Но, будучи «тотальным капиталом», действующим на мировом рынке, капитал остается силой, которая предпочитает занимать промежуточное положение между отдельными политическими юрисдикциями. Контролируя торговлю и кредит, он может оказывать конкурентное давление на заработную плату и условия жизни/труда в различных обществах, к которым он имеет доступ, сверхдетерминируя стратегии получения прибыли отдельных предпринимателей или «отдельных капиталистов», в терминологии Маркса. В этом смысле капитал, как утверждает Ронин Палан, тяготеет к «номадическому» способу организации, действуя в воображаемом «ровном пространстве», *которое не может быть освоено государствами*.

Своеобразие отношений между локковским оплотом и капиталом состоит в сочетании государств, сохраняющих свою формальную автономию, и более широкого пространства, определяемого суверенитетом собственности и контракта и, следовательно, капитала. Это транснациональное пространство, сохраняя свою независимость от отдельных государств, все же зависит от локковского оплота как более широкой формы организации. Квазигосударственные структуры наподобие Бреттон-Вудской системы, которые действуют в этом транснациональном пространстве, следует считать технической и статистической инфраструктурой, используемой с выгодой для себя самыми сильными государствами локковского оплота, а не носящими (как Организация Объединенных Наций и всемирные организации вообще) парламентский характер. В идеале они непроницаемы для демократии и классового компромисса.

Европейская интеграция

Теперь можно вернуться к европейской интеграции, взглянув на нее по-новому. Этот процесс начался с переходом к холодной войне, когда новым соперником стал СССР. Но атлантическая либерализация, следовавшая локковской логике, и франко-германское примирение требовали иных, часто несовместимых решений. Континентальная Западная Европа имела давнюю историю создания и действия государств-соперников; ускоренная либерализация способна была нарушить связь между правящим классом и обществом в целом. Принимая во внимание ослабление Британии во Второй мировой войне, Соединенные Штаты должны были сыграть ведущую роль в поиске средств, позволявших сочетать элементы государственного вмешательства с потребностью включения континента в более широкий Запад. И все же здесь, как и на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, между Вашингтоном и Лондоном велось острое соперничество. Но в «плане Маршалла», направленном на открытие и восстановление замкнутых экономик континента, отстранение коммунистов от власти и объединение либерального блока вокруг англоязычных государств, Британия была солидарна с Соединенными Штатами.

Однако «план Маршалла», подстегнувший переход к фордизму, привел к разрыву с традиционным либерализмом. Это было *качественное* изменение, и потому утверждения о том, что этот план был всего лишь скромным вкладом в общеевропейское дело, вряд ли можно назвать обоснованными. Пол Хоффман, руководивший реализацией «плана Маршалла», справедливо назвал его

соперничеством между «американской сборочной линией и коммунистической партийной линией». Такой же точки зрения придерживался и французский инвестиционный банкир, занимавшийся во время войны вопросами снабжения войск, Жан Монне. Он был убежден в том, что единственной альтернативой социализму может стать только глубокое преобразование европейского сообщества по образцу американского «Нового курса». В 1949–1950 годах Монне со своими единомышленниками, занимавшими ключевые посты в структурах государственного планирования, разработал стратегию, которая позволяла связать восстановление промышленности Западной Германии с «европейской» структурой, обладавшей реальными властными полномочиями. Экономика, организованная вокруг франко-германской оси, могла закрепить временные преимущества, которые давала Франции плановая модернизация, или, по крайней мере, сделать возможным мирное, договорное перераспределение на основе принципов либерализма и господства права, предложенных англоязычным «оплотом». В свою очередь, Федеративная республика готова была оплачивать европейские инициативы Франции в надежде на восстановление суверенитета и экономического могущества.

Объединение угля и стали, первый по-настоящему «европейский» институт, сделал структуру обобществленного труда недоступной для контроля со стороны национального государства и надзора со стороны парламента, но альтернативой этому служила традиция политически регулируемой экономики государства-соперника. Угольная и сталелитейная промышленность шести стран, вошедших в объединение, должна была быть подчинена использовавшим сталь секторам, хотя автопромышленная составляющая европейского фордизма все еще находилась в зачаточном состоянии. После начала корейской войны военное производство позволило компенсировать ограниченность внутренних гражданских рынков. В результате, благодаря координации инвестиционных планов и (определенного) контроля над ценами в сталелитейной промышленности удалось выработать политику, при которой транснациональные классовые интересы могли возобладать над демократическими ограничениями, с которыми сталкивались отдельные правительства. На самом деле Верховный орган, федеративный институт, во многом отвечавший традиции государства-соперника, в конечном итоге был заменен Европейским судом, так как суд был связан с транснациональным правовым пространством в локковском смысле слова — там, где дисциплина капитала навязывалась судебным преследованием, инициированным истцами, страдавшими от несовершенства рынка или нарушений антимонопольного законодательства, а не политическими институтами. Но этот итог не был неизбежным, и существование *двух параллельных линий развития* служило реальной конститутивной чертой последующего процесса интеграции.

Альтернативные логики объединения

Снятие с Западной Германии статуса оккупированной страны оказало значительное влияние на весь процесс интеграции. Предложение о создании, обсуждение и в конечном итоге крах Европейского оборонительного сообщества в 1950–1954 годах обычно преподносится в описаниях процесса европейской интеграции как провал. Но это было только поражение того, что в иных обстоятельствах (через создание параллельного «политического сообщества») могло превратиться в прочный костяк федерации в традиции государства-соперника. Вместо этого проблема перевооружения Германии, которому Франция пыталась помешать при помощи Европейского

оборонительного сообщества, стала важным этапом в восстановлении суверенитета Федеративной Республики. Это, в свою очередь, способствовало дальнейшей интеграции без создания действительно наднационального квазигосударства, способного осуществлять контроль над протекающими в нем социально-экономическими процессами и стать препятствием для транснациональной экспансии капитала. Франция полностью утратила свои имперские позиции во Вьетнаме, потерпев поражение в битве при Дьен Бьен Фу в 1954 году, и в Северной Африке после Суэцкого кризиса 1956 года, который привел к осложнению обстановки в Алжире. «Европа» тогда стала для Франции чем-то вроде спасательного круга. Но стратегия, которая позволяла использовать возрождение Западной Германии во благо более широкой «Европы» во главе с Францией, начала давать сбои, когда западные немцы (и голландцы) выразили заинтересованность в создании общего рынка. И вновь две стратегии могут быть поняты с точки зрения создания европейской наднациональной структуры в традиции государства-соперника и формирования гражданско-правового европейского пространства, в котором, в соответствии с «локковской» логикой, возможна либерализация международного капитала, а государство занимает подчиненное положение.

И только после того, как Франция прошла через свое болезненное приспособление к Общему рынку в этом втором значении (и реорганизовала свои колониальные владения в неоколониальную структуру), «Европа» — хотя и постепенно — взяла либеральный курс. Самые либеральные партии все еще считали Общий рынок вертикальным федеративным институтом и голосовали против его ратификации в своих национальных парламентах. В намеченной транснациональной констелляции национальное государство сохраняло свои прерогативы в рамках более широкой структуры, подчиняясь при этом общим правилам. Приход к власти де Голля в 1958 году означал невозможность осуществления этой трансформации демократическими средствами во Франции; несмотря на постепенное ослабление своих позиций, Коммунистическая партия Франции по-прежнему имела самую большую фракцию в парламенте. Тем не менее и де Голль, и коммунисты сохраняли приверженность французскому суверенитету; федеративный наднационализм, с точки зрения де Голля, отвечал глобальным планам Соединенных Штатов насчет Европы времен холодной войны, а правительства четвертой республики предали жизненно важные интересы Франции, позволив Западной Германии восстановить свои позиции в атлантическом контексте под видом европейского единства. Поэтому, едва обосновавшись в президентском дворце, де Голль вновь открыл дебаты о характере процесса европейской интеграции. Не для того, чтобы, как часто говорят, сорвать ее, а скорее для того, чтобы создать либеральную межправительственную структуру в духе локковского транснационализма, но на *европейский* лад.

Между тем постепенный отход от моделей интеграции, сохранявших связь с традициями директивного государства, пробудил интерес к «Европе», который, несомненно, был ориентирован на либерализацию и во многом разделял более широкий атлантический взгляд на капиталистическую модернизацию в мировом масштабе. Но тот факт, что успеха в этом направлении удалось добиться благодаря созданию структур, схожих с опытом государства-соперника — Верховного органа в ЕОУС, а также общей сельскохозяйственной политики и политики сохранения особых связей с бывшими колониями (в обоих случаях к этому привели действия де Голля), — свидетельствует о том, что такая стратегия интеграции не была тактическим средством, от которого при желании можно было легко избавиться. Она задавала

рамки социализации в смысле нормообразующего контекста, воспитывавшего особый взгляд на будущее у социальных сил, затрагиваемых ею.

Вызовы семидесятых

Такое развитие событий подкреплялось последующими «европейскими» решениями кризисных ситуаций, наподобие мая 1968 года и последующего подъема левых. Серьезным вызовом в Южной Европе стали явная радикализация социал-демократии и переход крупнейших коммунистических партий на позиции еврокоммунизма. Еврокоммунизм, который обладал наибольшим влиянием в Италии и Франции, а также в подполье франкистской Испании, означал отход от авторитарных левых, ориентировавшихся на советский опыт, и серьезное смещение к центру. Это позволило избавиться от клейма принадлежности к иной политической культуре, после чего отрицание легитимности этих партий как конкурентов в борьбе за власть в либеральном контексте стало куда более сложным делом. Краткосрочным ответом на господство левых на континенте со стороны капиталистического класса стала транснационализация производства и утечка капитала, которая в конечном итоге привела к дальнейшей либерализации, причем как на национальном, так и на общеевропейском уровне. Однако политики были больше озабочены созданием европейских парламентских структур, призванных ослабить связи между западногерманской, голландской и британской социал-демократией и теми южноевропейскими социалистами, особенно во Франции, которые, как тогда казалось, были готовы заключить предвыборный пакт с коммунистами. Поэтому представленный в 1976 году федералистский доклад Тиндеманса включал, среди прочих рекомендаций, создание избираемого напрямую европейского парламента. Конечно этот институт не обладал еще действительными полномочиями и не сталкивался ни с одним суверенным органом (напомним, что тогда происходило параллельное укрепление Совета Европы глав государств и правительств, подотчетных национальным парламентам, и постепенное превращение Европейской комиссии в некое подобие простого секретариата). Но это привело также к формированию европейских партий: большинство в страсбургском парламенте получили христианские демократы, а социал-демократам и коммунистам вновь пришлось довольствоваться статусом меньшинства.

Многие предложения Тиндеманса — например, его план общеевропейской внешней и оборонной политики — остались только на бумаге. И все же такое «федералистское вмешательство» вновь создало препятствия, которые помешали объединенной Европе сблизиться с англоязычным оплотом и стать своеобразной «внутренней экстратерриториальностью», более широким пространством, из которого структурно исключались демократия и классовый компромисс. Сегодня ЕС, несомненно, развивается в направлении либеральной структуры локковского оплота, о чем наглядно свидетельствует возрастание роли Европейского суда. Но тот факт, что ему при этом приходится опираться на формы, унаследованные от опыта государства-соперника, означает, что в нем воспроизводится ряд четко «европейских» установок и интересов, в том числе в геополитической сфере — в отношениях с советским блоком и «третьим миром» и их нынешними преемниками. Жесткие американские попытки навязывания «западной» дисциплины лишь подстегивают стремление к европейской независимости в ключевых секторах, наподобие аэрокосмической промышленности.

Противоречия между локковским либерализмом и традицией государства-соперника наиболее ярко проявились в британской политике по отношению к Европе. Великобритания, основной «член» изначального оплота, но географически и во все большей степени экономически «европейский», поначалу оставалась в стороне от процесса интеграции, но затем начала осознавать структурные конкурентные преимущества ЕС. Потребность в сохранении оффшорного статуса лондонского Сити и прерогатив парламента в Вестминстере взаимно детерминировали друг друга; поддержка транснационального либерализма внутри страны постоянно обеспечивалась паническими популистскими криками о грядущем европейском «сверхгосударстве». Но по мере отказа от федеративных устремлений в пользу всепроникающей либерализации (после завершения холодной войны и утраты необходимости сложной политики взаимных уступок касательно германского суверенитета) проблема ЕС утратила свое былое значение в британской политике.

На континенте такая «мягкая посадка» была невозможна, а сложившиеся каналы избирательного контроля оказались неспособными выполнить поставленную перед ними задачу. Европейская интеграция выводит ключевые области выработки политики из-под контроля парламентов. Европейский парламент не в состоянии компенсировать эрозию демократии. И это также, наряду с некоторыми корпоративными европейскими структурами, служит свидетельством расширения транснационального либерального пространства в соответствии со стандартами первоначального локковского оплота. Это целенаправленное лишение «Европы» парламентских прерогатив, конечно, полностью вписывается в более широкую тенденцию ограничения выборной демократии.

Демократическая революция

Структура оплота/соперника, лежащая в основе современной мировой политики и глобальной политической экономии, представляет собой один из аспектов более широкой демократической революции, служившей движущей силой современной политики. Начавшаяся на северо-западе Европы, демократическая революция приняла форму борьбы за освобождение от феодально-аристократического правления, королевского абсолютизма и господства римско-католической церкви в духовной и культурной жизни. Вместо выделения одного элемента и обсуждения «буржуазной революции», лучше рассмотреть ранние этапы демократической революции — Реформацию и Просвещение — с точки зрения изменения формы государства и его отношений с обществом, которые были прежде всего демократическими и только потом уже отвечавшими интересам землевладельцев, торговцев и ремесленников. Буржуазия как класс сформировалась в процессе создания новой политической реальности, процессе, который также позволил провести границу между ней и низшими классами. На самом деле в Английской и Французской революциях буржуазия была не сплоченным классом, а смесью самых различных социальных сил, объединяемых общим местом проживания (город) и коммерческой деятельностью и ориентированных на индивидуалистические доктрины, наподобие протестантизма и философии прав человека. Только во время реставраций, наступивших после этих эпохальных событий, происходила окончательная кристаллизация буржуазных интересов. Буржуазия, описанная в романах Бальзака как узнаваемый человеческий тип, сложилась только к середине XIX века; и без этого «Манифест Коммунистической партии» был бы невозможен.

Постепенная смена власти в ходе демократической революции и различная степень готовности буржуазии принять участие в этом процессе определили раскол геополитического пространства на локковский оплот и сменявшие друг друга государства-соперники. В религиозных войнах на континенте и на Британских островах впервые обозначились различные формы современной организации государства/общества и иностранного участия. В этом смысле можно утверждать, что на буржуазном этапе демократической революции была создана структура оплота/государства-соперника, которая — после «Славной революции» 1688 года — сверхдетерминировала все остальные демократические революции. Поэтому продолжение революций против присвоения государствами-соперниками социальной сферы, типичных для локковского оплота, было неизбежным; и хотя это, возможно, противоречит сложившимся представлениям о схематической последовательности буржуазных и социалистических революций, здесь нет какой-то большой проблемы, если рассматривать этот вопрос с точки зрения распространения требований свободы и равенства по обе стороны границы, разделяющей локковский оплот и государства-соперники.

Рамки этой статьи не позволяют рассмотреть последующее развитие демократической революции более подробно. Однако необходимо отметить, что она всегда, в том числе и на этапах Реформации и Просвещения, была *проектом всеобщего освобождения и социального равенства*. Именно это во всех революциях выводило массы людей на улицы; и именно поэтому радикалы (Томас Мюнцер, левеллеры, эбертисты и т. д.) пытались поднять и поднимали восстания во имя равенства. И с началом индустриализации социалистическое рабочее движение, возникшее как левое крыло демократической революции, начало распространяться по всей Европе. Рабочие партии сначала отошли от либералов, которые стали отдельным политическим течением, а затем обратились к парламентской демократии, буржуазной системе, позволявшей выражать различные интересы. Конечно социалистические политики становились более сдержанными. Но социалистическим движениям, которые признавали прогрессивно-либеральные средние слои частью одного исторического движения и заявляли о своей готовности заключить союз с ними, почти всегда удавалось добиться успеха. И всякий раз, когда левые объявляли своим главным врагом близкие к ним умеренные элементы (как это делали лассальянцы в Пруссии — Германии и коммунисты, обвинившие социал-демократию в пособничестве фашизму в начале 1930-х годов), они подписывали себе смертный приговор. В конце концов, парламент, обладающий реальными полномочиями, может принимать законы во благо свободы и социального равенства.

Кризис неуправляемости

В результате, наступил «кризис неуправляемости», о котором заговорили в середине 1970-х годов. Взрыв мая 1968 года, антиимпериалистическая волна в «третьем мире» во главе с национально-освободительной борьбой во Вьетнаме и парламентская стратегия национализации и радикальной демократизации Сальвадора Альенде в Чили — все это свидетельствовало о глубоких и сильных демократических устремлениях, сочетавших в равных пропорциях призывы к политическому и культурному освобождению и материальному равенству. Нормализация отношений Востока и Запада (парадоксальным образом наступившая сразу же после советского подавления попыток оживить чехословацкий коммунизм) позволила отделить локальное насилие от противостояния Востока и Запада. Новая демократическая волна стала важным

шагом на пути к всеобщему освобождению и социальному равенству. Нельзя сказать, что в этом движении не было серьезных противоречий. Например, очевидно, что движение за Новый международный экономический порядок (НМЭП), которое ставило перед собой целью создание реформистской коалиции на волне освободительной борьбы «третьего мира» и «разрядки», нередко наносило непоправимый вред демократии в странах, оказавших ему поддержку: иногда государства просто пытались подчинить себе общества в «бонапартистской» манере. Тем не менее во всех этих трех осях (классовые отношения на Западе, освобождение «третьего мира», «разрядка») содержалась одна общая черта: все они бросали вызов господству капитала над обществом на национальном и международном уровне. Как писали два советских автора в 1976 году:

> Движения социального протеста 1960-х годов способствовали широкому внедрению… идеологического тезиса, согласно которому истинная и последовательная демократия в общественной жизни возможна лишь как ограничение или даже отрицание капитализма. Напротив, ряд неолибералов в середине 1970-х сформулировал противоположный тезис: «истинный», то есть «рационально организованный»… капитализм возможен лишь как ограничение демократии.

Движение за НМЭП, без особого энтузиазма поддержанное странами советского блока, но объективно выигравшее от баланса сил на мировой арене, созданного «разрядкой», включало предложения по установлению контроля над транснациональными корпорациями под эгидой ООН: демократия как «ограничение или даже отрицание капитализма». И именно поэтому социал-демократы и еврокоммунисты поддерживали НМЭП и положительно оценивали «разрядку», которые такие фигуры, как Вилли Брандт и Ян Тинберген, рассматривали с точки зрения долгосрочной конвергенции моделей социально-экономического развития. *Ответом* на такое движение за социальную и экономическую демократию стал «противоположный тезис», а именно утверждение, что «рационально организованный» капитализм возможен лишь как ограничение демократии. И эта ограниченная демократия сделала возможным неолиберальный поворот в европейском процессе интеграции, результаты которого можно теперь наблюдать во Франции и — пока еще так заметно — в других странах континентальной Европы. Патетическая привязанность к ЕС элит бывшего советского блока составляет отдельную главу в этой разворачивающейся драме, рассмотрение которой здесь не представляется возможным, хотя дрейф в сторону авторитаризма в странах, наподобие Польши, подтверждает существование определенной взаимосвязи между неолиберальной экономической политикой и широким разочарованием в обществе.

Культура борьбы?

Контуры структурного ответа на май 1968 года впервые были очерчены Дэниелом Беллом, интеллектуалом, который пострадал от гонений на левых в эпоху Маккарти, и автором тезиса о «конце идеологии», выдвинутого в конце 1950-х годов. Его статья 1969 года «Культурные противоречия капитализма» (позднее расширенная до книги с тем же названием) по-прежнему остается обязательным для прочтения текстом для каждого, кто желает понять политическое обоснование ограничения демократии, которое было проведено позднее. Согласно Беллу, государство всеобщего благосостояния порождает силы, которые, будучи предоставленными сами себе, способны разрушить капиталистический порядок в результате уничтожения материальных и психологических ограничений, связанных с экономическим

положением индивидов. Подобно тому, как фордистское массовое производство и экономика потребления увеличивают «дискреционный доход» (часть дохода, используемая для развития стиля потребления по собственному выбору и не связанная с удовлетворением жизненно важных потребностей), «распространение высшего образования и создание более спокойной социальной атмосферы расширило возможности *дискреционного социального поведения*». В результате молодежь со сравнительно скромными задатками освобождается от классовых ограничений и начинает считать свою жизнь областью неограниченных возможностей и участия. «По мере распада традиционной классовой структуры, все большее число индивидов желает идентифицировать себя не со своим профессиональным базисом (в марксистском смысле), а со своими культурными вкусами и образами жизни».

Это, с точки зрения Белла, становится политической проблемой, потому что молодежь обращается к «культуре борьбы», борьбы свободного творческого духа против свойственных модернизму общественных ограничений. Каждый начинает считать, что он вправе присоединиться к авангарду прогресса и требовать радикальных перемен на том основании, что общество больше не страдает от «нужды», так как теперь наступил «конец истории и царство идеальной свободы». Поэтому необходимо разобраться с контекстом, в котором формируется такая массовая «культура борьбы». Решение, сформулированное на основе анализа Белла, заключалось в восстановлении микроэкономической рациональности в жизни каждого индивида и упразднении социального измерения кейнсианского управления спросом, социального обеспечения и перераспределения. В результате отсеивания «безбилетников» должны были остаться только те, у кого было достаточно средств для того, чтобы иметь возможность экспериментирования и игры с радикальными переменами; остальных должны были сдерживать рамки их покупательной способности. Грубо говоря: хочешь выйти на демонстрацию под красным флагом, учась в университете? Вперед, но помни, что студенческий заем обойдется тебе *очень* дорого.

Конечно, одинокий голос Белла не смог бы заглушить демократическую волну 1970-х, если бы у правящего класса не было других источников, на которые он мог бы опереться при подготовке своего ответа. Здесь нужно вспомнить о неразберихе в западных политических структурах, которая имела место в результате событий конца 1960 — начала 1970-х годов, причем не только на национальном, но и на международном уровне. Никсоновская администрация стала детищем этого кризиса, и она только усугубляла его своими бессистемными действиями. Продолжая войну во Вьетнаме, она внезапно заговорила о «разрядке» с Москвой и Пекином, которые, как считалось, были главной причиной брожения в странах «третьего мира» и подъема левых в мире в целом, в надежде, что трения между Советским Союзом и Китаем позволят, наконец, выбраться из вьетнамского болота; но она также предпринимала реальные шаги по установлению стратегического контроля над ядерными вооружениями. В 1973 году Соединенные Штаты поддержали свержение Альенде, но одновременно Никсон и Киссинджер искали расположения у правящих коммунистов. Это противоречие американского империализма привело к созданию Трехсторонней комиссии и переориентации западной внешней политики при Джимми Картере на более широкую стратегию «прав человека», которая позволяла делегитимировать любые сильные государства, независимо от их политической ориентации.

В докладе Трехсторонней комиссии о «Кризисе демократии» 1975 года были обозначены основные проблемы, с которыми сталкивался правящий порядок того

времени. Его авторы — Мишель Крозье, Сэмюель Хантингтон и Джоджи Ватануки — взяли на вооружение идею Дэниела Белла о том, что относительное богатство вызвало «синдром ценностей». Выражая обеспокоенность существованием «страты ценностно-ориентированных интеллектуалов», критически настроенных по отношению к существующей власти («интеллектуалы-борцы»), они с надеждой отмечали одновременный рост «технократически- и политически ориентированных интеллектуалов». Тем не менее они сделали вывод о том, что «в последние годы действие демократического процесса привело к распаду традиционных средств социального контроля, делегитимации политических и иных форм власти и предъявлению слишком больших требований к правительству, которые оно не в состоянии было выполнить».

К неолиберальному синтезу

В этом докладе также подчеркивалось различие между англоязычным Западом, где индустриализация и демократизация развивались рука об руку, и Германией, Италией, Японией и другими странами (то есть государствами-соперниками), где демократизация исторически отставала от индустриализации. Это вызвало определенный дисбаланс и открыло возможность для критики «буржуазной демократии» в этих обществах. Иными словами, наибольшую опасность для сложившегося порядка представляли страны, находившиеся за пределами локковского оплота. И решение, как нетрудно догадаться, должно было исходить от него. В этом докладе Хантингтон назвал отождествление демократии с социальным равенством одной из главных проблем общепринятой концепции демократии. Наиболее важной среди рекомендаций доклада была идея о том, что проблемы социальной структуры и распределения дохода и, следовательно, экономической системы должны перестать зависеть от избирательного процесса. Несмотря на некоторые противоречия, которые содержались в выводах доклада и обнаружились в ходе его обсуждения на Трехсторонней комиссии, его долгосрочные последствия теперь кажутся достаточно очевидными.

Идея Белла заключалась в том, что дальнейшая демократизация приведет к социализму; потому необходимо найти равновесие между экономическими ресурсами и политическими устремлениями. В «Кризисе демократии» в качестве решения предлагалось ослабить «груз» демократических требований посредством выведения экономики за пределы области проблем, которыми могли и должны были заниматься правительство и парламент. Течением мысли, которое смогло соединить в себе такие идеи, был неолиберализм Хайека и Фридмена, основавших в 1947 году общество «Монт Перелин» для того, чтобы бороться с тем, что Хайек назвал «дорогой к рабству», то есть с участием государства в экономике, и всячески содействовать введению локковских механизмов. Дожидаясь своего часа на факультетах экономики элитарных западных университетов, наподобие Чикагского университета или Лондонской школы экономики, сообщество «Монт Перелин» на протяжении трех десятилетий оставалось на обочине публичной жизни и даже иногда высмеивалось кейнсианским мейнстримом. Но кризис кейнсианства и фордизма в начале 1970-х позволил ему гордо заявить о себе. Нейтрализация социал-демократии, сопровождавшаяся ограничением политической демократии, стала жизненно важной составляющей неолиберального «открытого общества». Тезис Фукуямы о «конце истории», согласно которому капитализм и парламентская демократия окончательно одержали победу над «тоталитаризмами» различных государств-соперников, помешал

осознанию того, что *перед введением неолиберальной дисциплины капитала необходимо было сначала «подрезать крылья» демократии*. Тот факт, что введение такой дисциплины в Чили сопровождалось массовыми пытками и репрессиями, нисколько не помешал ее насаждению при Рейгане и Тэтчер. Неолиберализм стремится к полному уничтожению старого общества. Неолиберализм — это не возврат к былому либерализму, а радикальная утопия, которая может потребовать насильственного устранения тех, кто встанет у нее на пути. Принятая чилийской хунтой новая конституция была названа «конституцией свободы» в честь одной из книг Хайека. Маргарет Тэтчер отвергала критику неолиберализма, заявляя, что парламентская демократия иногда может становиться препятствием для экономического развития.

Неолиберальная интерпретация демократии основывается на локковском освобождении «гражданского общества» *от государства*. Экономика, не говоря уже о социальном равенстве, больше стоит в демократической повестке дня. С неолиберальной точки зрения, государство со всеми имеющимися у него инструментами перераспределения, планирования и кризисного управления экономикой, должно отступить перед абстрактным индивидом. Ключевой идеей здесь становится выбор. Разработанная мыслителями, вроде Гари Беккера, и распространенная на все аспекты социальной жизни, теория рационального выбора возложила вину за все экономические неурядицы на государственное регулирование и политику перераспределения. Отмеченная Беллом необходимость повторного введения микроэкономической логики в жизнь каждого человека теперь могла быть использована для пересмотра основных целей движения мая 1968 года — автономии, созидания, самореализации. «Проблема безбилетника» и белловского «дискреционного социального поведения» людей могла быть решена только путем упразднения государства всеобщего благосостояния.

Неприкосновенность экономики

Как экономическая теория, неолиберализм считает капитал суверенной силой в организации общества. Единственными действующими силами, признаваемыми им, служат индивид, обладающий собственностью, который может участвовать в «свободной» конкурентной борьбе за улучшение своего положения, и рынок, который регулирует такую конкуренцию. Капитал, как уже накопленное и политически закрепленное на командных высотах глобальной экономики мобильное богатство, перестает замечаться в качестве социальной силы вследствие возрождения воображаемого мира индивидов, одни из которых владеют *Microsoft*, а другие — только собственной рабочей силой или не имеют даже ее. Неолиберализм, таким образом, натурализует капиталистические отношения, признавая экономическое определение человека отправной точкой всей социальной науки, которая оставляет без внимания его социальную обусловленность. Ответом на выявленную Беллом структурную проблему современности («культура борьбы») становится индивидуализация и восстановление микроэкономической рациональности. Индивид приучается «жить по средствам»; в противном случае гражданин рискует стать неуправляемым. Процесс неолиберальной реструктуризации, таким образом, превращает «свободного» индивида в силу, которая прекрасно соответствует динамической нестабильности стремительно развивающегося капитализма, потому что, учитывая измерение «риска», «выбор» имеет далеко идущие последствия, способные полностью определить жизнь индивида.

Наконец, ослабление государства, суверенитет которого отступает перед суверенитетом капитала, дополняется ослаблением общества. Новое понятие «гражданского общества», заменяющее старые употребления этого термина, мыслится прежде всего как *противоположность* принуждающему государству и ведет к делегитимации традиции государства-соперника и, следовательно, всего развития, неконтролируемого транснациональным капиталом. Это также предполагает превращение понятия демократии в конкурентную игру в установленных пределах. Подобно тому, как экономические конкуренты не оспаривают характер самой рыночной экономики (для этого государство должно быть отделено от экономики), участники демократической конкуренции должны принять «единые правила игры», то есть существующий социально-политический порядок. Поэтому в политической конкуренции не могут участвовать те, кто желает изменить этот порядок. Как пишет Фукуяма, «в большинстве развитых демократических государств проблемы, связанные с управлением обществом, решены»; то же относится и к экономике «выбора». Так что неравенство не может стать предвыборной проблемой.

Это означает исключение экономики из сферы политического выбора или, по выражению Стивена Гилла, превращение ее в «конститутивную основу» общества. И «ответственные» политические элиты не должны оспаривать принципы социальной организации, а эмоциональное напряжение избирателей в идеале должно находить разрядку в проблемах идентичности и морали. Конечно, в таких условиях интерес к выборам бесследно испарился. Зачем голосовать, если принципы, в соответствии с которыми действует общество, остаются недосягаемыми для избирателя? На самом деле определенные демократические страсти все еще могут быть мобилизованы для установления этой санированной формы демократии, как в тех случаях, когда организованные при поддержке западных доноров «народные выступления» используются для смещения неудобных правящих элит. Но как только в результате концертов популярных исполнителей и круглосуточных массовых митингов, транслируемых в прямом эфире на весь мир, устанавливается неолиберальная альтернатива, бессмысленность выбора между кандидатами, которые придерживаются различных позиций, но заявляют о своей безоговорочной поддержке приватизации, вскоре становится очевидной. И это позволяет увидеть основную особенность этой санированной демократии: чтобы сделать политическую «конкуренцию» по-настоящему безопасной, «полиархия», которую фигуры, вроде Брандта или Моро (не говоря уже о социалистах, вроде Альенде), хотели включить в демократический процесс, должна была быть заранее упразднена.

Таким образом, революционный процесс общего освобождения, на котором покоилась демократия со времен Реформации и Просвещения (не обошедшаяся без реальных революционных кризисов и имевшая в качестве своей долгосрочной цели социальное равенство), идеально завершился. Мы оказались в неисторическом мире, в котором можно стремиться только к личному самосовершенствованию. Гражданину остается только задаться вопросом: как мне добиться этого? Каковы мои шансы? И религия, конечно, стремится вернуться на сцену, обещая в качестве утешительного приза блаженство после смерти, если в этой жизни нет никаких перспектив. Но в светских обществах Запада власть религии над обездоленными всегда оказывается зыбкой, и французские пригороды служат наглядным примером того, насколько трудным оказывается прививание одной веры смешанному иммигрантскому населению.

Преждевременная самоуверенность

Сегодня кажется, что права собственности и капиталистическая дисциплина одержали окончательную победу. Как сказал Блэр в своем выступлении на Нью-йоркской фондовой бирже в конце 1998 года, череда финансовых кризисов, потрясших тогда мир, свидетельствовала не о том, что рыночные принципы потерпели провал, а о том, что «в глобальной экономике отсутствие рыночной дисциплины может иметь губительные последствия. Страны должны принять правильную политику по выходу из кризиса». Неолиберальное правление в этом смысле предполагает кристаллизацию суверенного капитала в глобальном масштабе. Демократия сводится к голосованию за людей, которые должны сводить концы с концами в сложившейся ситуации.

И все же представление о мировой гомогенизации, содержащееся в термине «глобализация», слишком преждевременно. Способность различных обществ подчиняться капиталистической дисциплине варьируется, а сама потребность в ней парадоксальным образом приводит к реактивации самобытного наследия всех этих обществ в новых комбинациях в процессе, который Робер Бауйе называет «гибридизацией». В результате, происходит углубление «цивилизационных» расколов и усиление религиозных и национально-этнических противоречий, подрывающих глобальный суверенитет капитала.

Отклонение Европейской конституции во Франции и Нидерландах в мае и июне 2005 года можно истолковать как неожиданный всплеск интереса к выборам, даже почти бесполезным «европейским», когда избиратели *заявили о своем праве высказываться насчет дальнейшего развития общества*. Конечно, нельзя сказать, что в таком голосовании отразилось подлинное стремление к социальному равенству и освобождению. В Нидерландах важную роль сыграли популистские антииммигрантские настроения, причем основное беспокойство вызвала проблема членства Турции в ЕС. Также имело место общее недовольство расширением ЕС в восточном направлении и ожидание притока рабочих-мигрантов, готовых трудиться в худших условиях за меньшую зарплату. Во Франции «польский водопроводчик» также во многом определил голосование против конституции; и, скорее всего, недавние волнения в пригородах приведут к заметному усилению ксенофобских настроений среди значительной части населения, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Но после референдума стало ясно, что существует преемственность между «нет» 2005 года и результатами первых французских выборов в 1848 году: в округах, где в 1848 году победили левые кандидаты Распай и Ледрю-Роллен, большинство спустя 157 лет проголосовало «против», а в областях, которые проголосовали «за», раньше победил Кавеньяк, кандидат от правых. Иными словами, такой раскол во Франции имеет глубокие исторические корни.

В основе голосования «против» лежала также неудовлетворенность последствиями введения евро в качестве общей валюты и, в частности, ростом цен и дефляционной политикой, проводимой Европейским центральным банком. Ратификацию Францией Маастрихтского соглашения, в соответствии с которым создавался экономический и валютный союз, можно признать большой удачей для политического истеблишмента. Но требования Европейского валютного союза относительно борьбы с инфляцией и ограничения дефицита бюджета привели к введению постоянного структурного регулирования в странах-членах, и это не могло не причинить вреда экономикам, организованным вокруг промышленного капитала и занятости. В каком-то смысле создание валютного союза вписывалось в историческую логику действий Франции, которая пыталась связать Германию с «Европой» прежде, чем та окрепнет настолько,

что ее уже больше будет нельзя контролировать: в результате введения общеевропейской валютной политики Франция рассчитывала получить определенный контроль над странами-обладательницами сильных валют, то есть над Германией и Нидерландами. А так как Европейский центральный банк является «независимым», то есть свободным от политического или парламентского контроля, у него есть соответствующий мандат — Пакт о стабильности — для «законного» проведения неолиберального курса для всех без каких-либо исключений.

Европейский круглый стол

Маастрихтский договор, таким образом, был важным шагом на пути к организации ЕС по образцу локковского оплота. В свободном пространстве для капитала, в котором государства, оберегающие политический суверенитет и демократию, отделены от более крупной структуры, только тонкая грань отделяет европейский неолиберализм от англосаксонского. В результате сложился «компенсационный» или «насажденный» неолиберализм с остаточными элементами классового компромисса и социальной защиты — но они сохранились в странах-членах *после* выполнения дефляционных требований валютного союза. При помощи этих требований европейский капитал надеялся использовать крах советского блока и социализма для ускорения неолиберальной трансформации Европы в тэтчеровском духе и преодолеть возникший дисбаланс между государствами и классами. Следует помнить, что Маастрихт и валютный союз восходят в своих истоках к инициативам влиятельного Европейского круглого стола промышленников (ЕКС), который стремился извлечь пользу из особых отношений с Восточной Европой. Основной идеей был вывод производства на восток и использование «освободившихся» рабочих рук для разрушения структур социальной защиты, все еще существовавших в западной части континента. В 1993 году в своем обращении к президенту Европейской комиссии Жаку Делору ЕКС выступил за создание группы, которая специально занималась бы вопросами «конкурентоспособности». Консультативный совет, включавший генеральных директоров *Unilever, ABB, Nokia и BP*, в трех докладах изложил рекомендации по модернизации образования (с целью улучшения положения Европы в складывающейся глобальной информационной экономике), либерализации общественного сектора и приданию большей гибкости рынку труда не только в вопросах собственно занятости (с целью повышения конкурентоспособности), но и в вопросах постоянного обучения и переподготовки для приспособления к меняющимся потребностям.

На Люксембургской встрече на высшем уровне в конце 1997 года консультативная группа по вопросам обеспечения конкурентоспособности предложила свою стратегию занятости, которая предполагала создание более широких «возможностей для трудоустройства» рабочих при помощи программ (пере)подготовки, обеспечения более благоприятных условий для небольших начинающих компаний, придания большей гибкости рынку труда, привлечения к оплачиваемой работе значительного числа женщин, снятия ограничений на работу в ночное время и т. д. Также было достигнуто соглашение о ежегодном предоставлении соответствующих правительственных отчетов, позволявших отслеживать успехи во всех этих областях и вносить необходимые коррективы. Тем временем, консультативная группа приступила к работе над еще четырьмя докладами. В первом из них утверждалось, что система социальной защиты должна ориентироваться на мобильность рынка труда; во втором рекомендовалось создать более конкурентоспособные европейские рынки капитала и обеспечить рост европейского пенсионного рынка. В третьем вновь содержался призыв

к обеспечению большей гибкости рынка труда, а в последнем докладе, представленном в 1999 году, различные рекомендации были объединены в общий план действий, направленный на достижение уровня Соединенных Штатов, экономика которых в 1990-х годах переживала бурный рост и стимулировала экономическую активность в остальном мире.

Здесь нужно вспомнить, что капитал никогда не совпадает с существующей административно-территориальной организацией и всегда избегает территориальных рамок даже на уровне ЕС. Как показал Бастиаан ван Апельдоорн, продажи 19 крупнейших европейских корпораций за пределами Европы выросли с 34% в 1987 году до 46,2% в 2000 году; с другой стороны, никакого роста продаж за пределами своей страны, но *внутри* ЕС (которые должны были составить европейский профиль) не наблюдалось. Кажется, что Европейский Союз, открыто отказавшийся от протекционистских мер и соперническихпритязаний, сегодня стал такой же подходящей структурой для глобальной экспансии капитала, как и изначально англоязычный Запад. «Европейскость» означает теперь, скорее, привилегированный доступ к выработке политики на уровне ЕС, которым пользуется европейский крупный бизнес, и способность участвовать в крупных инфраструктурных и «политических» опытно-конструкторских разработках, наподобие тех, что ведутся в аэрокосмическом секторе (например, *Airbus* или система спутникового позиционирования *Galileo*).

Однако экономический портфель ЕС не связан с соответствующей политической системой, позволяющей создавать транснациональные коалиции поддержки вокруг экономических стратегий и нейтрализовать оппозицию реальными или символическими уступками и подачками *через* национальные границы. Хотя Европейский парламент — это часть формальной политической инфраструктуры, представление о существовании на европейском уровне точной копии национального разделения властей на исполнительные, законодательные и судебные, безусловно, ошибочно. Если и существует европейская «*Trias Politica*» в том смысле, в каком о ней говорит Отто Хольман, то она состоит из комиссии, тесно взаимодействующей с европейским бизнесом, суда и Совета министров, представляющего страны-члены (Совета Европы в случае глав правительств).

Лиссабонская программа

Вскоре после косовской авантюры, в которой Соединенные Штаты вынудили страны ЕС принять новый порядок отношений с Восточной Европой, в Лиссабоне прошла встреча Совета Европы, на которой обсуждалась всесторонняя стратегия, разработанная на основе рекомендаций, представленных консультативной группой по вопросам конкурентоспособности ЕКС. Но в Лиссабонском соглашении 2000 года содержался новый элемент соперничества. С одной стороны, его целью было ускоренное проведение неолиберальной приватизации и придание большей гибкости рынкам. С другой стороны, в стремлении создать более конкурентоспособную экономику, сопоставимую с американской, бесспорно, присутствовал вызов Соединенным Штатам.

В соответствии с Лиссабонским соглашением, доля экономически активного населения должна вырасти с нынешнего 61% до 70% к 2010 году. В 2002 году на европейской встрече на высшем уровне в Барселоне было принято решение о повышении возраста выхода на пенсию на пять лет. Представьте, какое влияние это окажет на жизни

простых людей, и вспомните, что с ними никто даже не думал посоветоваться. Европейская комиссия в своем подготовительном документе к Лиссабонской встрече также настаивала на необходимости обеспечения неинфляционного роста на благоприятных для рынка условиях (читай: без повышения заработной платы): гибкий график, большие возможности для неполной занятости и пересмотр законодательства, защищающего рабочих и обязывающего работодателя выплачивать слишком большую компенсацию при увольнении. Третьим столпом лиссабонского проекта было завершение создания внутреннего рынка. Этому должно было способствовать устранение препятствий, мешавших формированию единого рынка, посредством либерализации таких секторов, как газ, электричество, почта и транспорт.

Но после этого стало очевидно, что лиссабонскую программу, подготовкой которой на протяжении десяти лет занимался ЕКС, необходимо было сделать приемлемой для населения Европы. В конце концов, именно на этом уровне эти далеко идущие изменения должны были получить признание. Ведь, в отличие от пиночетовской Чили, тэтчеровской Британии или рейгановских Соединенных Штатов, намеченные преобразования не ограничивались рамками одного национального государства. Поэтому в Европе поиск политики, призванной легитимировать экономическую стратегию, происходил на уровне ЕС. Но, несмотря на корпоративные и федеративные механизмы, сохранившиеся у наиболее крупных стран-членов, которые в прошлом выступали в качестве соперников локковского оплота, действительные *политические* структуры — то есть структуры, в которых экономические интересы преобразовывались в соперические интерпретации общего интереса — по-прежнему оставались слабо развитыми. В то же время существует Европейский парламент и множество различных каналов выражения интересов на уровне ЕС — институты, которые попросту отсутствуют на атлантическом уровне или, например, в НАФТА и АСЕАН. Следовательно, всегда существовала, пусть и не реализованная, *возможность* политической мобилизации и классовой борьбы или компромисса на уровне ЕС. И, в отличие от четкого разделения между национальной политикой и транснациональной экономикой, которое всегда существовало в изначальном локковском оплоте (капитал действует в транснациональном пространстве, а демократические требования выдвигаются в рамках отдельных государств), отличительной особенностью «европейской политики» остается противоречие, устранить которое можно либо через полную ренационализацию политики и сохранение регулятивной инфраструктуры на уровне ЕС (с Центральным банком, выполняющим функции Бреттон-Вудской системы), либо через развитие полноценной политики на уровне ЕС. «Единственная» проблема здесь в том, что население Европы так или иначе *лишается гражданских прав*, либо вследствие общего ограничения демократии в неолиберальном ключе, либо вследствие передачи ключевых прерогатив национальных парламентов в экономической области европейским структурам.

Значение конституции

И когда было принято решение о придании «законной» силы неолиберальной программе, изложенной в Лиссабоне, при помощи действительной Европейской конституции, которая служила своеобразным народным мандатом, гарантирующим принятие этой программы населением, вдруг выяснилось, что между крупным капиталом, работающим с самой Комиссией через ЕКС, и массой населения, столкнувшейся с последствиями распада послевоенного классового компромисса и, по сути, исключенной из европейского политического процесса, существует

непреодолимая пропасть. Поэтому ЕС всегда был намного более неолиберальным, чем могли себе позволить национальные правительства. Несмотря на существование широкого консенсуса между политическими классами — левыми и правыми — относительно необходимости и неизбежности неолиберальных мер, правительствам всегда было трудно добиваться согласия, необходимого для проведения в жизнь таких мер. В 2002 году организация европейских предпринимателей заявила об угрозе срыва лиссабонской программы и необходимости скорейшего принятия конкретных мер. Кроме того, во многих странах, особенно в Италии, Франции и Бельгии, возникло мощное движение протеста против либерализации. Канцлер Шредер совершил необычный шаг, сложив с себя полномочия председателя СДПГ, перешедшие к нему от Оскара Лафонтена, чтобы не тратить больше времени на убеждение своих соратников по партии в необходимости сокращения расходов, либерализации и приватизации.

Европейская конституция, таким образом, должна была стать главным механизмом превращения неолиберализма в неотъемлемую составляющую политических структур, действующих на уровне ЕС, которая обязывала бы каждую страну-члена выполнять основную программу, несмотря на демократическое голосование. Конечно, не все правительства рискнули спросить своих избирателей, что они думают по этому вопросу, и референдумы во Франции и Нидерландах показали почему.

Отклонение конституции, конечно, не означает отмены неолиберальной программы. Де Виллепен, обещавший «прислушаться» к голосу народа, став премьером, спокойно продолжил приватизацию. И это разожгло костры в пригородах. До тех пор пока европейское социальное развитие будет зависеть от приверженности ЕС неолиберализму, аномалии, вызванные движением «реформ», с чередой непониманий и преувеличений, разногласий и сбоев, никуда не исчезнут. Роль долгосрочных государственных инвестиций в обеспечении единства и мощи европейских экономик не просто реликт прошлого, лишенный всякого смысла. Принятие новых финансовых практик не требует больших временных затрат, но по замечанию Робера Буайе практики труда и занятости меняются очень медленно, поскольку они зависят от опыта и подготовки работников, приобретаемых со временем. И пока Европа (или Япония и Южная Корея) не могут присоединиться к финансиализации мировой экономики на благоприятных для них условиях, в долгосрочной перспективе наследие государственных предприятий и контроля, классового компромисса и/или корпоративного патернализма может оказаться чрезвычайно полезным при неизбежном переходе к новым формам производства. Основная проблема лиссабонской стратегии ЕС состоит в том, что она требует отказа от всех достоинств, которыми обладает Европа, и возлагает все надежды на конкуренцию с Соединенными Штатами, принимая американскую модель за образец. В результате крупные индустриальные экономики континентальной Западной Европы переживают сегодня глубокий структурный кризис — и Франция тому пример.

Перевод с английского Артема Смирнова